

Библиотека Классической Литературы

Содержание

АВТОБИОГРАФИЯ

7

МОЙ ЛЕЙТЕНАНТ

21

ЗУБР

287

АВТОБИОГРАФИЯ

«На этот раз я родился в двадцатом веке...»

Так бы мне хотелось начать биографию героя новой книги. В этом есть что-то из личных ощущений. Когда-то ты уже жил, поэтому удивляешься тому, как ныне все сложилось. Сколько надо было случайностей в судьбах родителей, а потом и в моей собственной, чтобы добраться до нынешнего дня.

Тогда они очень любили друг друга, отец мой и мать. Она была совсем молоденькой, она пела, у нее был хороший голос, все детство прошло под ее песни. Много было романсов, городских романсов двадцатых годов, иногда у меня выплывают какие-то строки-куплеты: «И разошлись, как в море корабли...», «Мы только знакомы, как странно...». Не было у нас инструмента; учить ее тоже никто не учил, она просто пела, до последних лет. Стрекот швейной машинки и ее пение. Отец был старше ее на двадцать с лишним лет.

...1919 год, год моего рождения — в тех местах еще догорала Гражданская война, свирепствовали банды, вспыхивали мятежи. Они жили вдвоем в лесничествах где-то под Кингисеппом. Были снежные зимы, стрельба, пожары, разливы рек — первые воспоминания мешаются со слышанными от матери рассказами о тех годах. Детство — оно было лесное, позже — го-

родское; обе эти струи, не смешиваясь, долго текли и так и остались в душе раздельными существованиями. Лесное — это баня со снежным сугробом, куда прыгал распаренный отец с мужиками, зимние лесные дороги, широкие самодельные лыжи (а лыжи городские — узкие, на которых мы ходили по Неве до самого залива. Нева тогда замерзала ровно, и на ней далеко блестели великолепные лыжни).

Лучше всего помнятся горы пахучих желтых опилок вблизи пилорам, бревна, проходы лесобиржи, смолокурни, и сани, и волки, уют керосиновой лампы, вагонетки на лежневых дорогах...

Родина писателя — детство. Это не мое выражение, но я часто ощущаю его справедливость. О детстве хочется писать с подробностями, потому что они помнятся, краски тех лет не тускнеют, некоторые картинки все так же свежи и подробны.

Матери-горожанке, моднице, молодой, красивой, не сиделось в деревне. Это я понимаю теперь, задним числом, разбираясь в их ночных шепотных спорах. А тогда все принималось как благо: и переезд в Ленинград, и городская школа, наезды отца с корзинами брусники, с лепешками, с деревенским топленым маслом. А все лето — у него в лесу, в леспромхозе. Как старшего ребенка, первого, сильно тянули меня каждый к себе. Это не была размолвка, а было разное понимание счастья. Потом все разрешилось другими обстоятельствами — отца сослали в Сибирь, куда-то под Бийск, а мы с тех пор стали ленинградцами. Мать работала портнихой. И дома прирабатывала тем же. Появлялись дамы — приходили выбирать фасон, примеривать. Мать любила и не любила эту работу — любила потому, что могла проявить свой вкус, художественную свою нату-

ру, не любила оттого, что жили мы бедно, сама одеться она не могла, молодость ее уходила на чужие наряды.

Школа моя пошла всерьез примерно с шестого класса. В школе на Моховой оставалось еще несколько преподавателей бывшего здесь до революции Тенишевского училища — одной из лучших русских гимназий. В кабинете физики мы пользовались приборами времен Сименса-Гальске на толстых эбонитовых панелях с массивными латунными контактами. Каждый урок был как представление. Преподавал профессор Знаменский, потом его ученица — Ксения Николаевна. Длинный преподавательский стол был как сцена, где разыгрывалась феерия с участием луча света, разложенного призмами, электростатических машин, разрядов, вакуумных насосов.

У учительницы литературы не было никаких аппаратов, ничего, кроме стихов и убежденности, что литература — главный для нас предмет. Ее звали Аида Львовна. Она организовала литературный кружок, и большая часть класса стала сочинять стихи. Один из лучших наших школьных поэтов стал известным геологом, другой — математиком, третий — специалистом по русскому языку. Никто не остался поэтом. Мне же стихи не давались. С тех пор у меня появилось благоговейное отношение к поэзии как к высшему искусству. В порядке самоутверждения я тоже написал в школьный журнал, написал о том, что поразило меня тогда, — о смерти С. М. Кирова: Таврический дворец, где стоял гроб, прощание, траурная процессия...

Несмотря на интерес мой к литературе и истории, на семейном совете было признано, что инженерная специальность более надежная. Я подчинился, поступил на электротехнический факультет и кончил По-

литехнический институт перед войной. Энергетика, автоматика, строительство гидростанций были тогда профессиями, исполненными романтики, как позже атомная и ядерная физика. Наши профессора участвовали еще в создании плана ГОЭЛРО. О них ходили легенды. Они были зачинатели отечественной электротехники. Были своенравны, чудаковаты, отдельные, каждый позволял себе быть личностью, иметь свой язык, сообщать свои взгляды, они спорили друг с другом, спорили с принятыми теориями, с пятилетним планом. Мы ездили на практику на станции Свири, Кавказа, на Днепрогэс. Работали на монтаже, на ремонте, дежурили на пультах.

До нас стало доходить, что у равнинных гидростанций есть противники. Тогда я возмущался косными взглядами этих ученых. Понадобились годы и годы, чтобы убедиться, какой урон приносят искусственные моря, сооружения, губительные для рыбы, климата, как нерасчетливо строят гидростанции. Было нелегко пойти против своей специальности, своих наставников.

На пятом курсе, в разгар дипломной работы, я вдруг стал писать историческую повесть о Ярославле Домбровском. Ни с того ни с сего. Писал не о том, что знал, чем занимался, а о том, чего не знал, не видел. Тут было и польское восстание 1863 года, и Парижская коммуна. Вместо технических своих книг я выписывал в Публичной библиотеке альбомы с видами Парижа. О моем увлечении никто не знал. Писательства я стыдился. Написанное казалось безобразным, жалким, но остановиться я не мог.

После окончания института меня направили на Кировский завод, там я начал конструировать прибор для отыскания мест повреждения в кабелях. С Кировского

завода в июле 1941 года я ушел в народное ополчение, на войну. Не пускали. Надо было добиваться, хлопотать, чтобы сняли броню. Война прошла для меня, не отпуская ни на день, до конца 1944 года. В 1942 году на фронте я вступил в партию.

Воевал я на Ленинградском фронте, потом на Прибалтийском, воевал в пехоте, в танковых войсках и кончил войну командиром роты тяжелых танков в Восточной Пруссии. Рассказывать о своей войне я не умею, да и писать о ней долго не решался. Тяжелая она была, слишком много смерти было вокруг. Если поместить, как на мишени, все просвистевшие вокруг пули, осколки, все мины, бомбы, снаряды, то с какой заколдованной четкостью вырисовывалась бы в пробитом воздухе моя уцелевшая фигура. Существование свое долго еще после войны считал я чудом и доставшуюся послевоенную жизнь — бесценным подарком. На войне я научился ненавидеть, убивать, мстить, быть жестоким и еще многому другому, чего не нужно человеку. Но война учила и братству, и любви. Тот парень, каким я пошел на войну, после этих четырех лет казался мне мальчиком, с которым у меня осталось мало общего. Впрочем, и тот, который вернулся с войны, сегодня тоже мне бы не понравился. Так же, как и я ему.

Когда пишешь автобиографию, пишешь на самом деле не о себе, а о нескольких разных людях, среди них есть даже чужие тебе. Меня было три, а может, и больше. Довольно трудно прийти к выводу насчет себя и оценить, что это за человек жил-был на свете — такой он разный, несовместимый.

Мне повезло: первыми моими товарищами в Союзе писателей стали поэты-фронтовики — Анатолий Чивилихин, Сергей Орлов, Михаил Дудин, — они при-

няли меня в свое громкое, веселое содружество. А кроме того, был Дмитрий Остров, интересный прозаик, с которым я познакомился на фронте, в августе 1941 года, когда по дороге из штаба полка мы с ним заночевали на сеновале, а проснулись — кругом немцы... Диме Острову я принес, уже где-то в сорок восьмом году, свою первую законченную повесть, ту самую — о Ярославе Домбровском. Подозреваю, что он так и не прочел ее, жалея меня, но тем не менее убедительно доказал мне, что если уж я хочу писать, то надо писать про инженерную свою работу, про то, что я знаю, чем живу. Я и сам это ныне советую молодым, позабыв, какими унылыми мне показались подобные нравоучения.

То были прекрасные годы. Я не думал стать только писателем, литература была для меня всего лишь удовольствием, отдыхом, радостью, как прогулка в горы или поля. Кроме нее была работа, главная работа — в Ленэнерго, в кабельной сети, где надо было восстанавливать разрушенное в блокаду энергохозяйство города. Ремонтировать кабели, прокладывать новые, приводить в порядок подстанции, трансформаторное хозяйство. То и дело происходили аварии, не хватало энергии, не хватало мощностей. Меня поднимали с постели ночью — авария! Надо было откуда-то перекидывать свет, добывать энергию погасшим больницам, водопроводу, школам. Переключать, ремонтировать. Днем и ночью мы ремонтировали кабели, поврежденные в блокаду. Где-то треснула свинцовая оболочка, пробралась сырость — кабели тянули в местах бывших воронок. Обстрелы и бомбежки для нас как бы продолжались. В те годы — 1945–1948-й — мы, кабельщики, энергетики, чувствовали себя самыми нужными и влиятельными людьми в городе. По мере того как энерго-

хозяйство восстанавливалось, налаживалось, входило, как говорится, в русло, у меня таял интерес к эксплуатационной работе. Нормальный, безаварийный режим, которого мы добивались, вызывал удовлетворение и скуку. В это время в кабельной сети начались опыты по так называемым замкнутым сетям — проверялись расчеты новых типов электросетей. Я принял участие в эксперименте, и ожил давний мой интерес к электротехнике.

И вдруг я написал рассказ. Про аспирантов. Было это в конце 1948 года. Назывался он «Вариант второй». Я принес его в журнал «Звезда». Меня встретил там Юрий Павлович Герман, который ведал в журнале прозой. Его приветливость, простота и какая-то пленительная легкость отношения к литературе помогли мне тогда чрезвычайно. Рассказ был напечатан сразу, почти без поправок. Легкость Ю. П. Германа была свойством особым, редким в нашей литературной жизни. Заклучалось оно в том, что литература понималась им как дело веселое, счастливое, при самом чистом, даже святом отношении к нему. Мне повезло, потом уже ни у кого я не встречал такого празднично-озорного отношения, такого наслаждения, удовольствия от литературной работы.

Рассказ «Вариант второй» был опубликован в 1949 году, замечен критикой, расхвален, и я решил, что отныне так и пойдет, так и положено: я буду писать, меня сразу будут печатать, хвалить, славить и т. п. К счастью, следующая же повесть «Спор через океан», напечатанная в той же «Звезде», была жестоко раскритикована. Не за художественное несовершенство, что было бы справедливо, а за «преклонение перед Западом», которого в ней как раз и не было. Несправедли-

вость эта удивила, возмутила меня, но не обескуражила. Надо заметить, что инженерная моя работа создавала прекрасное чувство независимости. Кроме того, меня поддерживала честная взыскательность старших писателей — Веры Казимировны Кетлинской, Михаила Леонидовича Слонимского, Леонида Николаевича Рахманова. В Ленинграде в те годы я еще застал замечательную литературную среду — были живы Евгений Львович Шварц, Борис Михайлович Эйхенбаум, Ольга Федоровна Берггольц, Анна Андреевна Ахматова, Вера Федоровна Панова, Сергей Львович Цимбал, Александр Ильич Гитович, — то разнообразие талантов и личностей, которое так необходимо в молодости. Но, может, более всего помогал мне участливый интерес ко всему, что я делал, Таи Григорьевны Лишиной, ее басовитая беспощадность и абсолютный вкус... Она работала в Бюро пропаганды Союза писателей. Многие писатели обязаны ей. У нее в комнатке постоянно читались новые стихи, обсуждались рассказы, книги, журналы...

Вскоре я поступил в аспирантуру Политехнического института и одновременно засел за роман «Искатели». Вышла к тому времени многострадальная моя книга «Ярослав Домбровский». Заодно и в электротехнике тоже что-то завязалось и стало получаться. Напечатал несколько статей, от замкнутой сетки я перешел к проблемам электрической дуги, тут много было таинственного, интересного, это требовало времени и полной погруженности. По молодости, когда сил много, а времени еще больше, казалось, что можно совместить науку и литературу. И хотелось их совместить. Но не тут-то было. Каждая из них тянула к себе все с большей силой и ревностью. Каждая была прекрасна.

Пришел день, когда я обнаружил в своей душе опасную трещину. Но в том-то и штука, что душа — это не сердце, и разрыва души быть не может. Просто надо было выбирать. Либо — либо. Вышел роман «Искатели», он имел успех. Появились деньги, можно было перестать держаться за свою аспирантскую стипендию. Но я долго еще тянул, чего-то ждал, читал лекции, работал на полставки, никак не хотел отрываться от науки. Боялся, не верил в себя... В конце концов это, конечно, произошло. Нет, не уход в литературу, а уход из института. Впоследствии я иногда жалел, что сделал это слишком поздно, поздно стал писать всерьез, профессионально, но, бывало, жалел, что бросил науку. Я знаю, что «величайшая роскошь, которую только может себе позволить человек, — всегда поступать так, как ему хочется». Это слова Александра Бенуа, но лишь теперь я постигаю непростой их смысл.

Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве, это была моя тема, мои друзья, мое окружение. Мне не надо было изучать материал, ездить в творческие командировки. Я любил этих людей — моих героев, хотя жизнь их была небогата событиями. Изобразить ее внутреннее напряжение было нелегко. Еще труднее было ввести читателя в курс их работы, чтобы читатель понял суть их страстей и чтобы не прикладывать к роману схемы и формулы.

Решающим рубежом был для меня двадцатый съезд партии. Подействовал он разительно на меня, на все мое поколение фронтовиков, заставил по-иному увидеть и войну, и себя, и прошлое. По-иному — это значило увидеть ошибки войны, оценить мужество народа, солдат, себя самих. Избавиться от иллюзий, что всем мы обязаны лучшему Другу и Учителю...